

Валентина Мордерер
Сквозь стены фотонегатива

Всё изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий.

Александр Пушкин

«Академиков много, а детективы редкость».

Из кинофильма «Endeavour» (2012)¹

Поначалу я храбро поставила эпиграфом настойчиво стучавшиеся в этот детектив строки Боратынского «Ты сладострастней, ты телесней Живых, блистательная тень!», но, вспомнив об Ахматовой, потихоньку их перетащила в затравку текста. Сразу оговорюсь, что из всех многочисленных толкований загадки Боратынского наиболее привлекательной мне показалась Сафо как адресат послания. И все же над соревнованием в поиске ключей ребуса главенствует понимание того, что этот стихотворный сфинкс таковым и был задуман — гадать вам, потомки, не перегадать. Дальше речь пойдет о сходной методе — об укладках с двойным дном, лукавых способах и приемах вуалирования Пушкина в русской поэзии, об исключительном многообразии и изворотливости этих недет-

© Valentina Morderer, 2012

<http://www.utoronto.ca/tsq>

¹ Имя детектива Морса, персонажа романов Колина Декстера, — тайна. Морс его скрывает и шутит, что «Инспектор» и есть его имя. Его зовут Endeavour, что означает «Стремление», и назван он в честь одноименного корабля (еще не космического). Не в последнюю очередь инспектор Морс получил мировое признание благодаря сериалу (1987—2000 гг.). 25-летию начала съемок сериала англичане посвятили фильм-приквел «Endeavour» (2012), детективное действие которого также происходит в Оксфорде.

ских прятков и утаек. И разумеется, о поиске разгадок и ответов. Начнем с Анненского².

ДРУГОМУ

Я полюбил безумный твой порыв,
Но быть тобой и мной нельзя же сразу,
И, вещей снов иероглифы раскрыв,
Узорную пишу я четко фразу.

Фигурно там отобразился страх
И как тоска бумагу сердца мяла,
Но по строкам, как призрак на пирах,
Тень движется так деланно и вяло.

Твои мечты — менады по ночам,
И лунный вихрь в сверкании размаха
Им волны кос взметает по плечам.
Мой лучший сон — за тканью Андромаха.

На голове ее эшафодаж,
И тот прикрыт кокетливо платочком,
Зато нигде мой строгий карандаш
Не уступал своих созвучий точкам.

Ты весь — огонь. И за костром ты чист.
Испепелишь, но не оставишь пятен,
И бог ты там, где я лишь моралист,
Ненужный гость, неловок и невнятен.

Пройдут года... Быть может, месяца...
Иль даже дни, и мы сойдем с дороги:
Ты — в лепестках душистого венца,
Я просто так, задвинутый на дроги.

Наперекор завистливой судьбе
И нищете убого-слабодушной,

² Вообще-то эта статья была задумана как камень на распутье, от которого расходились бы статьи-дороги, или как карабасова плётка-семихвостка, но статьи-хвосты пришлось отсечь. Анненский остался в одиночестве, и само это уединение тоже потребовало сократительных жертв.

Ты памятник оставишь по себе,
Незыблемый, хоть сладостно-воздушный...

Моей мечты бесследно минет день...
Как знать? А вдруг, с душой подвижной моря,
Другой поэт ее полюбит тень
В нетрунито-торжественном уборе...

Полюбит, и узнает, и поймет,
И, увидав, что тень проснулась, дышит, —
Благословит немой ее полет
Среди людей, которые не слышат...

Пусть только бы в круженье бытия
Не вышло так, что этот дух влюбленный,
Мой брат и маг, не оказался я
В ничтожестве слегка лишь подновленный.

Современники поэта своими догадками и соображениями об этом «другом» не делились. Возможно, для них адресат был прозрачно-ясен или, напротив, предполагалось, что нет надобности искать: под маской — звездно, повесть — чья-то, «другой» — дистанцированное второе «я», идеал и объект полемики. Затем А. В. Федоров осторожно обмолвился в 1990 году в комментированном издании поэзии Иннокентия Анненского в «Библиотеке поэта», что, возможно, имелся в виду Константин Бальмонт.

С тех пор набирает силу хор несогласных, звучащий на редкость слаженно и единодушно. Все дружно голосуют за единственного кандидата — поэта Вячеслава Иванова. В его пользу высказываются исследователи (И. В. Корецкая, Катрина Келли, А. В. Лавров и др.), поэты (А. Кушнер, А. Пурин) и наиболее заинтересованные читатели.

Отношения поэтов, переписка и статьи, поэтические посвящения, идейно-стилистическая полемика и общность интересов — все подвергается зоркому изучению. Порой слишком пристальному. Например, А. Пурину принадлежат наблюдения, проходящие по ведомству юнговых архетипов и далеко выплескивающиеся за грани анализа поэтики. Тема

«двойничества» Анненского и Вяч. Иванова приобретает окраску психотерапевтическую: «Не потому ли он так тонко и пронзительно завидовал Анненскому, с которым связывали его не только общие эллинистические увлечения, но и нечто «архетипическое»: матрональная власть жен-вдовушек, какая-то странная олимпийская лень, заставлявшая этих двойников искать запретной любви, не выходя из квартиры и палисадника — у падчериц и своячениц? И не эта ли завистливая тоска оправдывает все ивановские «нечитабельные» версификационные нагромождения?»³

В 1996 году метания и сомнения публики авторитетно остановил А. В. Лавров. (Теперь принято, не вдаваясь в подробности, кратко ссылаться: «...как убедительно показал А. В. Лавров...»). Его статья называется «Вячеслав Иванов — „Другой“ в стихотворении И. Ф. Анненского», и в ней перечисляются аргументы предшественников и новые соображения автора. Приводим с купюрами несколько центральных абзацев этой статьи. Лавров суммирует:

«Среди аргументов, выдвинутых К. Келли и И. В. Корещкой, — указания на сугубо „ивановские“ специфические черты, составляющие творческий облик „Другого“: менады („Твои мечты — менады по ночам“), отсылающие к одному из самых характерных для Иванова стихотворений <...>; безумный порыв („Я полюбил безумный твой порыв“), огонь („Ты весь — огонь“) — атрибуты „дионисийских“ вдохновений, питавших поэзию Иванова; богоподобие и торжествующее величие („И бог ты там, где я лишь моралист“, „Ты — в лепестках душистого венца“, „Ты памятник оставишь по себе Незыблемый, хоть сладостно воздушный...“) — устойчивые мифопоэтические приметы образа мастера, нашедшие свое законченное воплощение в формуле „Вячеслав Великолепный“.

³ Пурин Алексей. Превращения бабочки.
http://www.newkamera.de/purin/purin_o_05.html

Вне поля зрения интерпретаторов стихотворения, однако, осталась одна конкретная примета, дополнительно убеждающая в правомерности предпринятой „дешифровки“: строки „Зато нигде мой строгий карандаш Не уступал своих созвучий точкам“, безусловно, указывают на лирический цикл Иванова „Повечерие“ <...>. 8-е, заключительное стихотворение цикла — незаконченный сонет „Моя любовь — осенний небосвод...“ <...>, вместо двух завершающих сонет терцетов — шесть строк, обозначенных точками (исключительно значимый по смысловой силе „эквивалент текста“, согласно тыняновской терминологии: работа Иванова над сонетом оборвалась накануне начала предсмертной болезни его жены, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, позднее поэт не счел возможным „дописать“ стихотворение, завершившее обращенный к ней цикл). Еще одним подтверждением того, что „Другой“ в сознании автора ассоциировался непосредственно с Вяч. Ивановым, служит стихотворный экспромт Анненского „Мифотворцу на башню“; один из его автографов, озаглавленный „На башне летом“, имеющий посвящение „В. И. Иванову“ и датированный 21 июня 1909 г., включает три варианта 4-й строки:

а А там другой Жилец уж, сед
б А там Другой ютится, сед
в А там Другой уж — пыльно-сед

„Жилец“ знаменитой „башни“, Вячеслав Иванов, предстает здесь — не случайно — как „Другой“ (с прописной буквы!)»⁴.

Попробуем возразить. Во-первых, сразу назовем своего «кандидата» в герои стихотворения «Другому» — это Пушкин, и только Пушкин. Во-вторых, покажем, почему в этом тексте его никак не может подменить Вяч. Иванов. В-третьих, предьявим свою, «пушкинскую», аргументацию.

⁴ Лавров А. В. Русские символисты. Этюды и разыскания. — М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 408—409.

Как ни странно, начнем с доводов биографических, процитировав Владимира Гитина, одного из самых сведущих современных анненсковедов: Анненский «с Вячеславом же Ивановым познакомился лишь в год смерти, в 1909 году. Вообще дружба Анненского с Вяч. Ивановым является плодом какого-то недоразумения или позднейшей „домашней“ легенды». И далее исследователь уточняет: «Познакомил их С. Маковский, и первая встреча произошла 22 мая 1909 года»⁵.

Этим же временем — маем 1909 года — А. В. Лавров датирует и стихотворение «Другому». Допустим, что Анненский «полюбил безумный порыв» коллеги без дружбы и знакомства, только изучая его стихи (при написании своей, довольно язвительной статьи, заметим). Но «другой» стихотворения Анненского — предмет давних и постоянных раздумий, тот, с чьей поэзией живут «и гостят и грустят», тот, кого на всю жизнь полюбили, и узнали, и поняли.

Всех привлекает «менада», как безусловная отметина Вяч. Иванова. Одна исследовательница даже признается в убедительной самодостаточности для нее этого единственного аргумента: «На наш взгляд, достаточно уже одной менады и намек на „четкость“ своей фразы в противовес „туманности“ „другого“ (что отражает суть критики Анненского в отношении Иванова), чтобы определить адресата наверняка»⁶.

Вот и обратимся к высказыванию Анненского об этой пресловутой дионисийской спутнице в исполнении Вяч. Иванова. В статье «О современном лиризме», которую Анненский писал летом — осенью все того же 1909 года, сказано:

«Жасминовые тирсы наших первых менад примахались бы-стро. Они давно уже опущены и — по всей линии. <...>

⁵ Гитин Владимир. «Театр Эврипида» Иннокентия Федоровича Анненского. История публикаций. // Иннокентий Анненский. Театр Еврипида; сост., подг. текста, коммент. В. Гитина; вступ. ст. М. Л. Гаспарова. — СПб.: Гиперион, 2007. С. 360.

⁶ Иванова О. Ю. Вяч. Иванов и И. Анненский: две точки зрения на картину Л. Бакста „Terror antiquus“ — <http://losevaf.narod.ru/ivanova.htm>

Современная менада уже совсем не та, конечно, что была пятнадцать лет назад. Вячеслав Иванов обучил ее по-гречески. И он же указал этой, более мистической, чем страстной, ги-перборейке пределы ее вакхизма.

Бурно ринулась Менада
Словно лань,
Словно лань, —
С сердцем, вспугнутым из персей,
Словно лань,
Словно лань, —
С сердцем, бьющимся, как сокол
Во плену,
Во плену, —
С сердцем яростным, как солнце
Поутру,
Поутру, —
С сердцем жертвенным, как солнце
Вечеру,
Вечеру...

Эти победные кретики четных строк, которые мало-помалу ослабевают в анапесты (во плену, поутру, вечеру) — поистине великолепны. И "Вакханку" охотно декламируют в наши дни с подмостков.

А кто не оценит литературной красоты и даже значительности заключительных строк новой оды с ее изумительным, ее единственным на русском языке не окончанием, а затиханием, даже более — западанием звуков и символов:

Так и ты, встречая бога,
Сердце, стань,
Сердце, стань.
У последнего порога
Сердце, стань,
Сердце, стань.
Жертва, пей из чаши мирной
Тишину,
Тишину...
Смесь вина с глухою смирной
Тишину,
Тишину...

Вам, конечно, чудится здесь символ сознанных сил и власти над настроением. Но мне — бог знает почему — жалко той наспех обученной ритуалу и неискусной в самом экстазе менады, про которую когда-то уверяли, что она видит „Фиолетовые руки На эмалевой стене“. Эти годы уже давно канули в вечность, и мы уже не умеем быть дерзкими. В самом вызове мы стали или равнодушны, или педантичны⁷.

Прочитав обзорную статью в «Аполлоне» Вячеслав Иванович обиделся, и его можно понять, потому что одной менадой Анненский не ограничился. Конечно, критик отметил «обычное мастерство поэта, стяжавшего себе известность великолепием своих вакхических изображений». Но далее следовали такие инвективы, что Анненский был, по-видимому, прощен потому только, что вскорости умер. Вот выборочно еще только пара цитат из статьи «О современном лиризме»:

«Отчего бы поэту, в самом деле, не давать к своим высокоценным пьесам комментария? <...> Но педантизм Вячеслава Иванова мешает понимать его поэзию — что „понимать“? дышать ею — не одним отсутствием комментария. Дело в том, что наш поэт не создает, как Стефан Малларме, особого синтаксиса. Чужды ему и гонкуровские блики, и эскизность раннего Лоти. Его суровые речения сцеплены крепко, — местами они кажутся даже скованными. При синтаксисе Кирпичникова это иногда просто терзает. <...> Хотя бы у „птиц в воздухе“ получился немного наш дискобол любви к простору»⁸.

Казалось бы, при таких оценках (с которыми и сейчас согласятся даже ярые почитатели Вяч. Иванова) о каком-таком «безумном порыве» или «огне» как чувственных клеймах «педантичной» поэзии «нашего дискобола» может идти речь? Да, „дионисийские“ вдохновения питали поэзию Иванова, да, это его тематика и образность — и вакханки, и огонь, и «пагуба сражений», и «лобызания меча», и «зевные жала», и «хмели

⁷ Анненский Иннокентий. Книги отражений. — М.: Наука, 1979. С. 329—330.

⁸ Там же. С. 332—333.

молний» и еще много чего подобного. Но сами-то стихи от этого архаического скарба вовсе не становились «испепеляющими».

Теперь о том, что осталось, по мнению А. В. Лаврова, «вне поля зрения интерпретаторов стихотворения». О сущей мелочи: «Зато нигде мой строгий карандаш Не уступал своих со-звучий точкам». Речь ведь идет не о потустороннем «эквиваленте текста», как у Вяч. Иванова, означившего точками бессилие, скорбь и отчаяние последней разлуки. Анненский говорит всего лишь о своей стыдливости и пуризме, противостоящих фривольному перу «другого», из цензурных соображений и приличий прибегающего к «прозрачным» отточиям. «И бог ты там, где я лишь моралист». Строгий карандаш и легкомысленное перо, чопорность и жовиальность, целомудрие и ненасытное темпераментное негритянство — список антонимов можно умножать беспрестанно. Из прижизненной публикации серьезнейшей «Телеги жизни» Пушкина, где не только «время гонит лошадей», но еще и другие созвучия, уступившие место точкам:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!

Всяк, особо не напрягаясь, может извлечь из памяти многочисленные эвфемизмы пушкинских шутливых точек. К тому же сам Анненский во всех иных случаях — печальных, загадочных, ритмических — многозначительные отточия любил и даже злоупотреблял этим знаком препинания...

И еще один аргумент А. В. Лаврова, по его мнению доказывающий, что „Другой“ в сознании Анненского ассоциировался непосредственно с Вяч. Ивановым — стихотворные экспромты поэта «Мифотворцу на башню». Написаны оба шутливых обращения тоже летом 1909 года с разрывом в месяц и в окончательном виде выглядят так:

МИФОТВОРЦУ — НА БАШНЮ

(Два мифотворения)

1

Где розовела полоса,
Одни белесые отсветы...
Бегут на башню голоса,
Но, ослабев, чуть шепчут: «Где ты?»
А там другой Жилец уж — сед
И слеп с побрызгов белой краски,
И смотрят только губы маски
Из распахнувшихся газет.

Июнь 1909

2

Седой!.. Пора... Седому — мат...
Июль углей насыпал в яме,
И ночью, черен и лохмат,
Вздувает голубое пламя...
Где розовела полоса,
Там знойный день в асфальте пытан.
Бегут на башню голоса...
А сверху шепот: «Тише — спит Он».

Июль 1909

Царское Село

Все согласятся, — слово «Другой» занимает центральное место в этих «мифотворениях». Действительно, бытовые подробности не совсем ясны и вряд ли мы их когда-нибудь узнаем (так прокомментировано в «Библиотеке поэта»). Что не столь важно. А вдруг Анненский нанес ответный визит Вяч. Иванову и застал в доме ремонт, а хозяина спящим, — возможно и такое. Шутка имеет другую подоплеку, вполне выявляемые языковые игры. «Мат» демонстрирует цветовой окрас игрового поля шахматной доски: первый текст белый, второй — черный. В первом некий портрет (или маска) — забрызган чем-то белым, именно это изображение, прикрытое газетами и есть — Другой жилец, сосед (подмена скрытого хозяина — «где ты?»). А смысл игры в том, что этот другой — слеп и сед, то есть стар. Перемежаются и вращаются несколь-

ко языковых пластов, причем осью вращения и является не-
пременное слово «другой» (*alter* — *лат.*). Затем следуют седи-
на и «старость» (*alter* — *немец.*); «высоко» и одновременно
«глубоко» — (*alte* — *лат.*). Башня — высоко, потому «сверху
шепот», «яма» — глубоко, в нее насыпан уголь. Даже сама
мена знаков несет альтернативность. В стихах поступательно
и настойчиво происходит смена декораций: белое переходит
в черное; высокое («башня») — в низкое, глубокое («яма»);
«розовая полоса» перекрашивается в нечто белесое или чер-
но-асфальтовое. «Изменяться» — это *alterare* (*лат.*), *alter*
(*англ.*).

Не менее настойчивое слово «сед» имеет свой круговорот.
И он начинается с названия, которое имело варианты («Мифотворцу — на башню» или «На башне летом»). «*Sedes*» в латыни — местожительство, нахождение, положение, пребывание. Приблизительно так: уж коли Ты обитаешь на башне, то Твой сосед — сед. Но еще есть и знакомые нам седативные медикаментозные препараты, которые предназначены тоже латынью (*sedatus* — спокойный) для того, чтобы утихать, успокаивать, умирять. Что и сделано в анненских «экспромтах»: «Но, ослабев, чуть шепчут...»; «А сверху шепот: „Тише — спит Он“»⁹.

Самое наглядное доказательство языковой игры заложено в... АСФ-АЛЬТЕ.

Ведь ровно тогда же, одновременно с «мифотворениями» написано печальное и знаменитое стихотворение «Дождик» (29 июня 1909) — о превращениях, овидиевых метаморфозах. Здесь нет возможности анализировать его подробно, приведем только финал:

И в миг, что с лазурью любилось,
Стыдливых молчаний полно, —
Всё темною пеной забилось
И нагло стучится в окно.

⁹ Русское «*слеп*» (незряч) поддержано маской-«*слепком*» и переходит в английское «*sleep*» — спать, *засыпать* («Тише — спит Он»), что созвучно «насыпать» («Июль углей *насыпал* в яме»).

В песочной зароется яме,
По трубам бежит и бурлит,
То жалкими брызнет слезами,
То радугой парной горит.

.....
О нет! Без твоих превращений,
В одно что-нибудь застывай!
Не хочешь ли дремой осенней
Окутать кокетливо май?
Иль сделаться Мною, быть может,
Одним из упрямых калек,
И всех уверять, что не дожит
И первый Овидиев век:
Из сердца за Иматру лет
Ничто, мол, у нас не уходит —
И в мокром асфальте поэт
Захочет, так счастье находит.

На асфальтовый город брызнул дождь, и его сеть находит странных двойников, разбивает всех на невероятные пары, изменяет все знаки на противоположные, венчает силу со слабостью: лазурь с ямой, молчание с наглым стуком, слезы с радугой. Высокий «альт» в дважды повторенном низком «асфальте» опять выдает превращения и изменения, которые руководствуются другими смыслами слова «alter». Ничто не уходит в древность (немец. Alter — старина, древность, век человечества), Овидиев век метаморфоз еще не изжит, сердце не стареет, в кокетливом майском дожде уже кроется дрема осеннего возраста, но и наоборот — седой калека верит в возможность счастья.

Для вящего убеждения тех, кто сомневается и колеблется, высказывается анненский профессиональный маркетолог-завывала, запускающий в высь «Шарики детские»:

Эй, воротник, говоришь по-немецки?
Так бери десять штук по парам,
Остальные даром...
Жалко, ты *по-немецки* слабенец,
А не то — уговор лучше денег!

Конечно, спектральные словесные близнецы и пары в поэзии Анненского гораздо многочисленнее и вариативнее, чем мы здесь показали. (Смеем думать, что и осенняя «Баллада» преклонного возраста, посланная сОЛДатам, — из их числа.) Демонстрировать широкие возможности слова «другой» удалось только для того, чтобы подытожить: Иванов попал в двойническую компанию «других» только в форме «башенной» шутки, безусловно прочитанной им, и, надеемся, понятой. Уж если Анненский обращался к нему так игриво-ребусно, то, следовательно, рассчитывал на понимание. Итак, мы полагаем, что и сам поэт Вячеслав Иванов никогда не притянул на то, что стихотворение «Другому» обращено к нему. Он — иной «другой».

А теперь о Пушкине.

В отличие от Вяч. Иванова, ни менад, ни Диониса «Словарь языка Пушкина» не содержит, вакхического же — преизбыток. Тут и «вакхальны припевы» на многочисленных пирах, и исступленные безумства «вакханки молодой», и вакхова влага вперемешку с мудрой беседой, и наконец, сама Муза, приведенная «на шум пиров и буйных споров»: «Она несла свои дары И как Вакханочка резвилась».

Но все же, презрев приличия, начнем опять с доводов биографических. Анненский — царскосел, и как большинство русских поэтов, он пушкиноцентричен, да к тому же имел тайную легенду о кровном родстве с Пушкиным (якобы его мать была из рода Ганнибалов). Намеренное отсутствие имени, его знаковая прикровенность — поэтический прием, изначально закрепленный в авторстве «Ник. Т—О».

Вот и в стихах имя Пушкина поэт впрямую целомудренно называет только раз (и то в тексте «на случай» — в послании «Л. И. Микулич»), в статьях, конечно, — неоднократно. Чуть ниже попытаемся найти последователей тем стихам Анненского, в которых Пушкин неназванной тенью, «вифлеемской звездой» ведет нас в полный небылиц старый сад поэтических

вдохновений. Классический пример, когда одну тайну приходится разгадывать при помощи другой. Что бывает наиболее продуктивно при отсутствии достоверных прямых обращений.

Но это попозже в будущем, а сейчас обратимся к тексту с несомненным адресатом-Пушкиным — это написанная Анненским и опубликованная в «Тихих песнях» кантата. Собственно, здесь тоже имя ни разу не названо, потому 15 мая 1919 года В. Кривичу пришлось для Пушкинского Дома удостоверить автограф Анненского «Свидетельством»: «Кантата <...> написана о Пушкине в связи со 100-летним юбилеем его рождения (1899). Место написания — Царское Село. Была написана не для конкурса и на конкурс автором не представлялась»¹⁰. Отбросим былинную стилизацию начала кантаты, где прославляется рождение нового Орфея, «души-соловьишки», которого заслушались рыбы, птицы, звери, люди — стар и млад. И процитируем вторую половину стихотворения:

РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ПОЭТА

(Кантата)

<...>

Один голос
Рыданье струн седых развей,
О нет, Баян, не соловей,
Певец волшебнo-сладострастный,
Нас жег в безмолвии ночей
Тоскою нежной и напрасной.
И не душистую сирень
Судьба дала ему, а цепи,
Снега забытых деревень,
Неволей выжженные степи.
Но бог любовью окрылил
Его пленительные грезы,
И в чистый жемчуг перелил
Поэт свои немые слезы.

Хор

¹⁰ Анненский Иннокентий. Стихотворения и трагедии. Библиотека поэта, большая серия. Л., 1990. С. 568.

Среди измен, среди могил
Он, улыбаясь, сыпал розы,
И в чистый жемчуг перелил
Поэт свои немые слезы.
Другой голос
О, свиток печальный!
Безумные строки,
Как гость на пиру
В небрачной одежде,
Читаю и плачу...
Там ночи туманной
Холодные звезды,
Там вещего сердца
Трехдневные муки,
Там в тяжком бреду
Томительный призрак,
Свой черный вуаль,
Вуаль донны Анны,
К его изголовью
Склоняя, смеется...

Мужской хор

Но в поле колдунья ему
Последние цепи сварила
И тихо в немую тюрьму
Ворота за ним затворила.

Женский хор

Творцу волшебных песнопений
Не надо ваших слез и пеней:
Над ним горит бессмертный день
В огнях лазури и кристалла,
И окровавленная тень
Там тенью розовою стала,
А здесь печальной чередою
Всё ночь над нами стелет сень,
О тень, о сладостная тень,
Стань вифлеемскою звездою,
Алмазом на ее груди —
И к дому бога нас веди!..

Общий хор

С немого поля,
Где без ненастья,
Дрожа, повисли
Тоски туманы, —
Туда, где воля,
Туда, где счастье,
Туда, где мысли
Простор желанный!
3 апреля 1899

Итак, 3 апреля 1899 года Анненский датировал свое юбилейное послание Пушкину — Вожатому, путеводной Звезде, а еще через десять лет (в мае 1909) обращается к нему, как бы подытоживая свой поэтический путь. С десятилетним разрывом поэт вновь обращается к тени Пушкина, цитируя пушкинские строки из стихотворения «Заклинание»:

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, холодна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно, сюда! сюда!..

(«Заклинание» Анненский полностью привел в своей статье «Пушкин и Царское Село»)¹¹. На всякого мудреца, как известно, довольно простоты. И казус «Вяч. Иванов» с ошибочным почтовым отправлением не единственный в гадательной практике ученого царскосела. В другом «тихо-песенном» тексте Анненского, слишком надежно сработанная вуаль сыграла с автором фиглярскую шутку: мелодия завладела аудиторией, стала громкой и знаменитой, превратившись в любовный романс нервного граммофона. Слишком изысканное обращение

¹¹ Анненский Иннокентий. Книги отражений. — М.: Наука, 1979. С. 319.

Анненского к мерцающей Звезде, целомудренное не называние имени Прекрасной Дамы — «Её светлости, Адмиралтейской иглы» еще надежней, чем в «Другому», скрыло вечного собеседника, соседа и адресата — Пушкина.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

3 апреля 1909

Царское село

И все же вернемся к профетизму «Другому», к той неувязке, что содержится в предсказаниях судьбы. Иначе как пророчеством не назовешь эти строки о годах, месяцах, или даже днях, ведущих к смерти, до того мига, когда доведется сойти с дороги (30 ноября 1909): «Ты — в лепестках душистого венца, Я просто так, задвинутый на дроги»¹². Именно эта точка стихотворения самая мнительная: «Почему давным-давно убитому Пушкину тоже дано сойти с дороги?» (А что, пророчить эдакое вполне крепкому здоровьем 43-летнему Вячеславу Иванову — обиходно-привычный жест дружелюбного коллеги, который так полюбил божественного поэта, что на этом свете и расстаться не может с носителем «безумного порыва»?)

¹² Здесь-то и пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству и отсечь один из разросшихся «хвостов»-объяснений. Он откололся в состав отдельной статьи. В ней подробно рассмотрен основной языковой посыл, на котором у Анненского строятся связи «пения», гибели или казни и головного убора или прически (гребня, венца, платка, чадры, фаты, кос, шафодажа и проч.). Посыл был подхвачен и продлен. В общем, это то межъязыковое «доброкачественное» образование, о котором Мандельштам позже не без макабрического юмора сказал: «Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь, Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?»

Думается, что вместе с каждым поэтом уходит и его личный, вещей Пушкин. Да и сам Пушкин назвал эту дорогу всего лишь тропой: «Ты памятник оставишь по себе, Незыблемый, хоть сладостно-воздушный...» («Другому»). Казалось, что может быть прозрачней иносказания, чем этот воздвигнутый поэзией «Другого» нерукотворный монумент? Но это так просто, так доступно, и намек отвергнут заодно с «бритвой Оккама»... Оказывается, слишком явная аллюзия, неминуемо меняя знак при смене адресата, воспринимается как пародия (или даже издевка). Вот что на товарищеском суде истории предъявляется Анненскому нашим современником-поэтом:

«„Ты — в лепестках душистого венца“, — говорит поэт об этом Другом, — „Ты памятник оставишь по себе, / Незыблемый, хоть сладостно-воздушный“... Такой приторно-парфюмерной, если не тошнотворно-кладбищенской „незыблемости“, такого косного „памятника“ и снижающе-пародийного „венца“, согласимся, простить невозможно. Но главное: что должна ощущать оболочка куколки, будучи разрываемая назревшими внутри крыльями? Иначе говоря, что чувствовал Вячеслав Иванов?»¹³.

И то правда, душистый венец, что подходил Юпитеру, оказался негодим для землянина. Может, не следовало и примеривать?

Сравнив «Другому» с «Кантатой», получим несколько параллелей, проясняющих намеренно затемненные, а иногда двойственные смыслы. Например, о себе и своей Музе в «Другому» самоуничижительно сказано:

Но по строкам, как призрак на пирах,
Тень движется так деланно и вяло.

или

Ненужный гость, неловок и невнятен

¹³ Пурин Алексей. Превращения бабочки.
http://www.newkamera.de/purin/purin_o_05.html

(«Другому»)

О своей ненужности, лишениях и потерях в кантате:

Как гость на пиру
В небрачной одежде,
Читаю и плачу...
(«Рождение и смерть поэта»)

О «другом поэте»:

Ты весь — огонь. И за костром ты чист.
Испепелишь, но не оставишь пятен
(«Другому»)

О Пушкине в кантате:

Нас жег в безмолвии ночей

или

И в чистый жемчуг перелил
Поэт свои немые слезы.
(«Рождение и смерть поэта»)

Про роковую обездоленность поэта (что, кстати, вовсе не применимо к Вяч. Иванову):

Наперекор завистливой судьбе
И нищете убого-слабодушной
(«Другому»)

О роке, тяготеющем над ссыльным Пушкиным:

И не душистую сирень
Судьба дала ему, а цепи,
Снега забытых деревень,
Неволей выжженные степи.
(«Рождение и смерть поэта»)

Из «кантаты» в стихотворение «Другому» перенесена еще одна деталь — покрывало. Перед смертью, наступившей по-

сле трехдневных мук, Пушкина в бреду навещает томительный призрак Музы под черным вуалем донны Анны. Недостижимые мечты «другого» поэта — порывистые менады и бурный вихрь их волнистых кос. Им противостоит призрак Андромахи, чья строгая высокая прическа (эшафодаж) покрыта платком. Русские менады-вакханки (не обученные по-гречески) — пушкинские музы, но и Андромаха пришла не из Гомера или Еврипида, а вовсе из Расина — в пушкинском изводе.

Стихотворение «Андрей Шень» Пушкин начинает с обращения к «другому»:

Зовет меня другая тень
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Пушкинский обреченный поэт восклицает: «Я скоро весь умру. Но тень мою любя, Храните рукопись, о други, для себя!» Собственно, Анненский, высказывая надежду на будущую жизнь своей Музы, следует предначертанному Пушкиным завету:

Моей мечты бесследно минет день...
Как знать? А вдруг, с душой подвижной моря,
Другой поэт ее полюбит тень
В нетронуто-торжественном уборе...
(«Другому»)

И опять торжественный убор «моей мечты», как у Андромахи — эшафодаж¹⁴. Именно так завершается скорбная стезя

¹⁴ Ср. у Л. Толстого: «Сафо Штольц была блондинка с черными глазами. Она вошла маленькими, бойкими, на крутых каблучках туфель, шажками и крепко, по-мужски пожала дамам руки. Анна ни разу не встречала еще этой новой знаменитости и была поражена и ее красотой, и крайностью, до которой был доведен ее туалет, и смелостью ее манер. На голове ее из своих и чужих нежно-золотистого света волос был сделан такой эшафодаж прически, что голова ее равнялась по величине стройно-выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперед была тако-

Андре Шенье. К последним строкам о дружбе, что очаровала смертный путь поэта, Пушкин делает примечание:

«На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. <Далее текст приводим в переводе с франц.> В свои последние минуты они беседовали о поэзии. Она была для них, после дружбы, прекраснее всего на свете. Предметом их беседы и последнего их восторга был Расин. Они решили читать его стихи. Выбрали они первую сцену „Андромахи“ (А. Де ла Туш)»¹⁵.

На этом считаем аргументацию и поиск адресата завершенными: в стихотворении «Другому» Анненский обращался к Пушкину.

ва, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги, и невольно представлялся вопрос о том, где сзади, в этой подстроенной колеблющейся горе, действительно кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело».

[http://ru.wikisource.org/wiki/Анна_Каренина_\(Толстой\)/Часть_III/Глава_XVIII](http://ru.wikisource.org/wiki/Анна_Каренина_(Толстой)/Часть_III/Глава_XVIII) (Приводится по: Толстой Л. Н. Анна Каренина. — М.: Наука, 1970. — С. 255).

¹⁵ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. М.—Л., 1949—1951, т. 2. С. 262, 451.